ГОДОВЫЕ КОЛЬЦА

ВАЛЕРИЙ КОРЕПИН



Валерий Корепин

Годовые кольца

«Автор»
2026

Корепин В. Д.

Годовые кольца / В. Д. Корепин — «Автор», 2026

Человек уходит в лес, чтобы вернуться к себе. Илья Сомов, инженерреставратор сорока одного года, отпускает город, с его суетой, циферблатами и вечной спешкой, и перебирается в северный бор на берег тихого Вежозера. Здесь, в одиночестве, он учится жить заново: ловит рыбу, сажает картошку, строит мост, вглядывается в медную глади воды и в черную хвою леса, перестает бояться тишины и понимает, что время — не враг, а собеседник. Книга — его дневник, его круг, его годовые кольца: зима, весна, лето, осень, и в каждом кругу чтото новое откладывается в душе, как откладывается годичное кольцо в стволе дерева. Не философская трактат, а живое, прожитое размышление о том, как жить, чтобы не навредить себе, и как найти в себе место, которое уже есть.

© Корепин В. Д., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Пролог. Ключ на гвозде 7
Часть I. Осень. Чёрная вода 10
Глава 1. Первая ночь под протекающей крышей 10
Глава 2. Глина и камень 13
Глава 3. Урок топора 15
Глава 4. Мёртвая деревня Высокий Дор 17
Глава 5. Хлеб и соль озера 20
Глава 6. Гость с сорок четвёртого километра 22
Глава 7. Ноябрьская слепота 25
Глава 8. Стеклянная межа 27
Глава 9. Чужие тетради 29
Часть II. Зима. Белое безмолвие 33
Глава 10. Закваска проснулась 33
Глава 11. Четыре часа сумерек 35
Конец ознакомительного фрагмента. 36

Валерий Корепин
Годовые кольца

Валерий Корепин
SetchatkaGlaza
ГОДОВЫЕ КОЛЬЦА
Роман
2026

© Валерий Корепин / SetchatkaGlaza, 2026
Роман. Философская проза, дневниковая проза. Пролог, пять частей, 54 главы и эпилог. Авторская редакция 1.0.

Произведение является художественным вымыслом. Совпадения с реальными лицами и событиями случайны.

Содержание

Пролог. Ключ на гвозде
Часть I. Осень. Чёрная вода
Глава 1. Первая ночь под протекающей крышей
Глава 2. Глина и камень
Глава 3. Урок топора
Глава 4. Мёртвая деревня Высокий Дор
Глава 5. Хлеб и соль озера
Глава 6. Гость с сорок четвёртого километра
Глава 7. Ноябрьская слепота
Глава 8. Стеклянная межа
Глава 9. Чужие тетради
Часть II. Зима. Белое безмолвие
Глава 10. Закваска проснулась
Глава 11. Четыре часа сумерек
Глава 12. Петля в ольшанике
Глава 13. Ёлка без игрушек и зелёное небо
Глава 14. Звериная грамота
Глава 15. Сорок два ниже нуля
Глава 16. Барометр из еловой ветки и песня берёзы
Глава 17. Подлёдный ход налима
Глава 18. Встреча у Малого острова
Глава 19. Белая пурга
Глава 20. Человек на лосиных камусах
Глава 21. Сон об отце
Глава 22. Первая капля на южном венце
Часть III. Весна. Вскрытие рек
Глава 23. Каменный наст и берестяные щели
Глава 24. Осиновый челн
Глава 25. Сорвавшееся стальное жало
Глава 26. Возвращение из пепла
Глава 27. Чёрные забереги и возвращение голосов
Глава 28. Ночной взлом озера

Глава 29. Разводка челна над живым огнём
Глава 30. Глухариная песня до зари
Глава 31. Чёрная земля на ладони
Глава 32. Зелёный дым и черёмуховый холод
Глава 33. Журавли над Моховым и ржавое железо
Глава 34. Осколок зеркала в предбаннике
Часть IV. Лето. Белые ночи
Глава 35. Рассвет, который не кончается
Глава 36. Дёготь и гнус
Глава 37. Новый охлупень без гвоздей
Глава 38. Полдень на воде
Глава 39. Сухой жар и Веж-озеро
Глава 40. Гроза на мысу
Глава 41. Старина Высокий Дор
Глава 42. Моховое болото
Глава 43. Морошка и лечебная трава
Глава 44. Головастники и старый петух
Глава 45. Рыбака и озеро
Часть V. Круг. Годовое кольцо
Глава 46. Тёмные ночи
Глава 47. Персейды
Глава 48. Сушеные грибы и брусника
Глава 49. Путь к Разъезду
Глава 50. Письма, которые ждали
Глава 51. Дом
Глава 52. Старый мост
Глава 53. Деревья и кольца
Глава 54. Последний дневник
Эпилог. Утро четырнадцатого сентября

Пролог. Ключ на гвозде

Когда дизельная мотриса из двух облупленных зелёных вагончиков тронулась дальше на север, лязгнув буферами на стыке узкоколейки, я ещё минуту или две стоял у низкого дощатого настила и смотрел ей вслед.

Сизый солярочный выхлоп медленно растаял между мокрыми рыжими стенами ельника. Ещё с полверсты рельсы тихо, тонко пели под удаляющимися колёсами, потом оборвался и этот металлический звон — будто кто-то осторожно зажал ладонью струну.

И стало тихо.

Не так тихо, как бывает ночью в спальном городском квартале, где под окнами всё равно ровно дышит бетонная утроба теплотрасс, гудят на столбах дроссели, в соседнем стояке сбегает вода и за пять километров шуршит шинами окружное шоссе. Здесь тишина имела совершенно иной удельный вес. Она легла на уши плотно, прохладно и сразу показала, какой оглушительный грохот я привёз с собой на собственных плечах: хруст синтетических лямок тяжёлого экспедиционного рюкзака, сиплое дыхание городских лёгких, непривыкших к сырому смолистому воздуху, да суетливый стук пульса в висках.

На кривом осиновом столбе у насыпи висела вылинявшая жестяная табличка с выведенными от руки суриком цифрами: «44 км».

Ни будки кассира, ни лавки, ни телефонного провода здесь не было — только приземистая бревенчатая казарма путевого обходчика с железной трубой в окне да штабель почерневших от дождей шпал, заросший кипреем с облетевшим седым пухом. Дежурный обходчик Михеич, сухонький старик в железнодорожной безрукавке поверх фланелевой рубахи, вышел на крыльцо с кружкой в руке и молча оглядел мои новые болотные сапоги, брезентовый чехол топора сбоку рюкзака и тубус с картами лесоустройства семидесятых годов.

— Значит, всё-таки приехал, племянник, — без особого удивления сказал он, сплюнув за перила чаинку. — А я думал, продашь бумагу дачникам али вовсе не объявишься. Покойный Фёдор Кузьмич второй год как на погосте в Вые лежит, тропу через Моховое за два лета багульником затянуло. До Веж-озера отсель тридцать две версты целкового волока, из них четыре — по старой лежневой гати. До темноты не поспеешь, ночуй у меня на лавке, а чуть свет пойдёшь.

Я поблагодарил и остался бы, наверно, в любой другой день своей прежней жизни — в той жизни, где я двадцать лет всё рассчитывал с запасом прочности, страховал каждый шаг двумя подписями и больше всего на свете боялся оказаться застигнутым темнотой посреди дороги без крыши. Но сейчас, глядя на уходящую от насыпи в жёлтый берёзовый подрост узкую, едва различимую во мху колею старого зимника, я вдруг понял: если останусь сегодня у чужой тёплой печки, то завтра утром в голове проснутся прежние разумные голоса, начнут пересчитывать килограммы крупы, сырость сентября, больную поясницу, нелепость самой этой затеи для сорокаоднолетнего человека с дипломом инженера-реставратора — и я с малодушным облегчением сяду на обратную мотрису в среду.

— Дойду засветло, Кузьмич мне ориентиры по затёскам расписал, — ответил я, поправляя поясной ремень рюкзака. — Сейчас только одиннадцать утра, в запасе восемь часов ходу.

Михеич спорить не стал. В северных лесах вообще редко отговаривают взрослого человека: здесь слишком хорошо знают цену лишним словам и чужой воле. Он только вынес из сеней сухую сосновую палку-посох, отполированную десятками ладоней до воскового блеска, и молча сунул мне в свободную правую руку:

— На гати впереди себя тыкай, где бревно утонуло. В болотном окне дна нет, а кричать там некому. И вот ещё — чуть не позабыл: Кузьмич перед больницей велел никому, окромя тебя, не отдавать, ежели спросишь дорогу.

Он снял с вбитого в дверной косяк кованого гвоздя тяжёлый старый ключ на сыромятном ремешке — длинный, выкованный деревенским кузнецом из четырёхгранного прута, с широкой фигурной бородкой.

Я взял этот холодный кусок железа, пахнущий махоркой и старым бараньим тулупом, сунул за пазуху штормовки и шагнул с гравийной насыпи в мокрый папоротник.

Уход из города со стороны почти всегда выглядит либо бегством побеждённого, либо красивой литературной позой пресыщенного человека. Я не строил иллюзий насчёт себя, пока шёл первые десять вёрст по старому глинистому волоку, где в заполненных тёмной торфяной водой колеях плавали лимонно-жёлтые берёзовые листья. Во мне было понемногу и от того, и от другого, и ещё третье — глухая, дошедшая до физической немоты усталость от жизни, в которой я годами чинил старинные каменные своды чужих особняков и храмов, а собственный внутренний свод просел так тихо, что я не услышал ни единого треска.

У меня не случилось громкой катастрофы, о которой удобно рассказывать случайным попутчикам в купе. Меня не предавали друзья, я не разорился в одночасье и не попал под суд. Всё вышло куда будничнее и оттого страшнее. Два года назад мы с Катей разошлись после одиннадцати лет брака — без единого битого стакана, без упрёков, с вежливой аккуратностью двух смертельно уставших квартирантов, делящих книги по корешкам в субботний полдень. После той давней больничной весны, когда мы потеряли ребёнка на седьмом месяце, между нами постепенно выросла тонкая стеклянная перегородка из бережливого молчания: мы так боялись задеть друг друга неосторожным словом, что в конце концов разучились говорить о главном вовсе. Я с головой ушёл в реставрационные подряды, спал по пять часов в машинах между лесами объектов, научился пить крепкий кофе вместо обеда и отвечать на звонки заказчиков в три часа ночи бодрым деловым голосом.

А в апреле этого года, стоя на строительных лесах под куполом старой колокольни в Ростове, я вдруг поймал себя на том, что смотрю на весеннее озеро внизу и не чувствую вообще ничего. Ни радости от закрытого годового проекта, ни желания ехать домой в пустую двухкомнатную квартиру с выключенным холодильником, ни злости, ни страха, ни голода. Словно кто-то незаметно убавил внутри меня звук и цвет до серой контрольной шкалы. Врач в платной клинике после получаса анализов выписал рецепт на модные таблетки в серебристом блистере и посоветовал слетать на две недели к морю. Я вышел из аптеки, выбросил рецепт в урну у трамвайной остановки, а вечером нашёл в ящике письменного стола нотариальное извещение о наследстве двоюродного деда по материнской линии — Фёдора Кузьмича Сомова, бывшего лесничего и наблюдателя озёрного гидропоста на Веж-озере, у которого я мальчишкой гостил одно-единственное далёкое лето в двенадцать лет.

Из всего имущества после старика осталась списанная в девяносто восьмом году изба лесного кордона на высоком северном мысу да право бессрочного пользования сенокосной поляной у ручья.

Я закрыл текущие договоры в мастерской к концу августа, сдал ключи от съёмного офиса младшему напарнику, оставил квартиру на попечение соседки поливать два фикуса на подоконнике и купил в охотничьем ряду на окраине города стопку общих тетрадей в сером холщовом переплёте по девяносто шесть листов каждая да пачку простых графитовых карандашей — чернила на сорокаградусном морозе лопаются в стержнях, а карандаш пишет и по сырой бумаге, и вверх ногами, и через пятьдесят лет не выцветает от воды.

Лежневая гать через Моховое болото началась на восемнадцатой версте, когда солнце уже клонилось за зубчатую чёрную стену дальнего бора.

Четыре километра скользких, позеленевших от сфагнума сосновых брёвен, уложенных поперёк бездонной ржавой трясины ещё пленными или лесорубами пятидесятых годов. Каждые десять шагов гнилой накат уходил под сапогом в густую чёрную жижу по самое колено, из-под подошв с глухим болотным вздохом поднимались цепочки болотного газа, пахнущего

прелой хвоей, железом и горьким багульником, от которого начинало сладко и тяжело ломить в затылке. На середине болота у меня свело судорогой левую икру под тридцатидвухкилограммовым мешком; я остановился, опёршись обеими руками на сосновый посох Михеича посреди бескрайней буро-зелёной равнины с чахлыми корявыми сосёнками ростом по пояс, которым было, может статься, по сто пятьдесят лет от роду.

Вокруг на десятки километров не было ни одного человеческого жилья, ни одной вышки сотовой связи, ни одного столба. Если сейчас оступиться со скользкого бревна и сломать голень в расщелине лежнёвки — никто не хватится меня ни завтра, ни через месяц: Михеичу я сказал, что приехал до весны, а в городе всем сообщил, что уехал на дальний северный подряд без связи.

Впервые за многие годы страх, кольнувший меня под рёбрами в эту минуту, оказался удивительно трезвым, предметным и честным. Это была не вязкая бессонная тревога городских четырёх утра перед налоговым отчётом или пустой старостью — это было прямое внимание живого тела к тому, куда именно ставится носок сапога в следующую секунду. Судорога отпустила, дыхание выровнялось само собой, и оставшиеся полторы версты трясины я прошёл шаг в шаг, проверяя посохом каждую плаху.

К Веж-озеру я вышел в густых сентябрьских сумерках, когда над чёрной зеркальной водой уже тянулись первые белые косы вечернего тумана.

Тропа поднялась по песчаному косогору сквозь медноствольный сосновый бор, под ногами сухо и чисто захрустел сизый олений мох-ягель, и между двумя старыми кряжистыми соснами на самом мысу проступил тёмный пятистенок под почерневшей тесовой крышей с покосившимся крыльцом и низким срубом баньки у самой воды.

На двери избы не висело замка — северный лесной обычай не велит запирать жильё наглухо от случайного путника, дверь была лишь подпёрта снаружи наклонным берёзовым колом, означавшим, что хозяина внутри нет, а вот внутренний чулан-амбарчик в сенях запирался как раз тем самым кованым четырёхгранным ключом Фёдора Кузьмича.

Я отвёл кол в сторону, снял с затёкших плеч рюкзак на скрипучие половицы крыльца и толкнул тяжёлую набухшую от осенней сырости дверь на деревянных пятах.

С этого порога и начинается моя первая серая тетрадь.

Часть I. Осень. Чёрная вода

Глава 1. Первая ночь под протекающей крышей

Четырнадцатое сентября.

Первое, что встречает человека в доме, где два года не топили печь, — это запах остывшего человеческого следа. В нём нет ничего пугающего или затхлого, если сруб рубили на совесть из смолистой зимней сосны на сухой каменной гряде, но в этом воздухе странно смешаны холодная печная сажа, сухая мышиная труха под лавками, старая овчина, ржавое железо и горьковатый дух высохших трав за матицей. Воздух внутри избы был вчера вечером на два или три градуса холоднее, чем снаружи у озера: толстые брёвна за короткое северное лето так и не успели прогреться насквозь без живого огня и держали в пазах прошлогоднюю зиму.

Вчера у меня хватило сил только засветить наскоро налобный фонарик — батарейки я решил беречь с первого же вечера для крайних случаев, пока не разберусь с керосиновыми лампами, — проверить, нет ли на широких дощатых полатях змеи или сырого гнезда, раскатать поверх сухого, но слежавшегося рогожного тюфяка свой спальный мешок, сжевать всухомятку галеты с кружкой колодезной воды из ручья под угором и провалиться в сон.

Проснулся я среди ночи от звука, от которого в первую секунду сел на полатях с колотящимся в самом горле сердцем.

Кто-то тяжёлый и неторопливый шёл вокруг избы по сухому сосновому опаду. Шаг — пауза — мягкий хруст ветки у глухой северной стены — и шумный, влажный выдох прямо напротив низенького слюдяного волокового окошка у печи. В городе ты никогда не знаешь, насколько тонка на самом деле стена между твоим тёплым сном и диким ночным миром: двадцать два сантиметра тёсаного дерева — и по ту сторону во тьме стоит зверь весом в триста или четыреста килограммов, которому ничего не стоит выдавить плечом гнилую раму.

Я нашарил в темноте холодное топорище у изголовья и сидел не дыша минут десять, слушая, как гулко бьётся кровь в барабанных перепонках. Потом у самой завалинки раздался характерный деревянный стук рога о нижний венец и спокойное хрупанье сорванной рябиновой ветки: старый лось вышел на старую кузьмичёвскую солонец-поляну за баней и по привычке проверил пустой двор, где два лета не пахло человеком и дымом. Он постоял ещё минуту и ушёл к ручью так бесшумно, как не умеет ходить по лесу ни один человек в мягких ичигах.

А уснуть обратно я уже не смог до самого рассвета — потому что за окном начался обложной сентябрьский дождь, и ровно в три часа ночи с потолочной балки в трёх вершках от моего плеча упала в пустой жестяной таз на полу первая тяжёлая капля.

Дзинь. Долгая, тягучая пауза в семь ударов сердца. Дзинь.

Удивительное дело: весь вечер мне казалось, что я сбежал от шума, а на поверку оказалось, что в лесной тишине у меня в голове работает круглосуточная сортировочная станция. Лежа в темноте с открытыми глазами под этот редкий жестяной звон капели с прохудившегося тёса, я вдруг услышал обрывки десятков старых разговоров, о которых не вспоминал годами: несправедливое замечание главного архитектора на защите сметы три года назад, собственную мелкую ложь приятелю по телефону, чтобы не ехать к нему на дачу помогать с крышей, невысказанный упрёк Кате в то последнее утро, когда она складывала в коробку зимние шарфы. В городе весь этот сор мгновенно тонет в мелькании вывесок, новостей, чужих лиц в метро и бесконечных мелких поручений — человек живёт как велосипедист, который не падает набок только до тех пор, пока изо всех сил крутит педали. Стоит остановить колесо и лечь одному в тёмной избе на краю тридцатикилометрового болота, как всё накопленное за полжизни поднимается со дна мутным илом.

Утром дождь перестал, оставив на тёмно-зелёных лапах елей тяжёлые стеклянные капли, и я весь день обживал и осматривал своё новое хозяйство при свете.

Кордон Фёдора Кузьмича срублен в лапу ещё в конце пятидесятых годов — низкий, кряжистый, в четыре маленьких окошка на юг и восток, к воде Веж-озера. Внутри одна просторная горница с приземистой белёной печью без лежанки, но с чугунной двухконфорочной плитой в шестке, широкий липовый стол у окна, иссечённый ножом за полвека чистки рыбы, две лавки вдоль стен, деревянные полати и судная полка с оловянными мисками, чугунками и двумя семилинейными керосиновыми лампами, у одной из которых лопнуло пузатое стекло, но вторая сохранилась в полной исправности. В холодном чулане за сенями, куда подошёл мой кованый ключ, я нашёл главное богатство лесного человека: жестяной ларь, обитый со всех сторон кровельным железом от мышей и медведя.

Фёдор Кузьмич уезжал отсюда в районную больницу ненадолго — думал вернуться к перволёдку, — и потому оставил в ларе неприкосновенный зимовочный запас в завинченных стеклянных четвертях и запаянных жестянках: пуд крупной серой поморской соли, четыре бутыли светлого осветительного керосина, десяток пачек казённых спичек, залитых по краям коробков жёлтым парафином от сырости, мешочек сушёного лука-севка, мотки капроновой дели для починки сетей и целую полку плотничьего инструмента, густо смазанного барсучьим салом, чтобы сталь не взялась рыжей сыпью. На стене сеней висели две пилы — двуручная и лучковая, кривое корытное тесло, скобель, коловорот и тяжёлый колун на грабовом топорище.

Топить печь сегодня я не решился: заглянув с берестяным факелом в хайло и прочистную дверцу дымохода, увидел два обвалившихся с перевала кирпича и плотную пробку галочьего гнезда в трубе. Затопи я её вчера сходу в темноте с устатку — угорел бы к утру на первой же странице своего дневника.

К вечеру я влез по приставной жердевой лестнице на скользкую тесовую крышу, вычистил длинной еловой слегой трубу до чистого просвета в топке и заложил прогнившую щель в тёсе двумя широкими пластами старой бересты, прижав их сверху плоским валуном с берега.

Руки с непривычки гудят до самых плеч, под ногтями чёрная смола и печная сажа, на правой ладони уже надулся первый водяной волдырь от черенка. Пью кипяток, вскипячённый на костре у бани в закопчённом солдатском котелке, с сухарём и тремя горстями крупной чёрной вороники и брусники, набранной прямо за порогом во мху.

Часы со стальным браслетом я снял с левого запястья и положил на верхнюю полку рядом с паспортом. Не потому, что хочу играть в дикаря, — просто здесь смешно делить день на шестьдесят мелких одинаковых клеточек в час, когда у света над озером всего четыре настоящих меры: рассвет, высокая вода полдня, косой рыжий луч в соснах и сумерки, когда пора заносить в сени сухое беремя растопки.

Семнадцатое сентября.

Третий день на Веж-озере. Дождя нет, но с утра стоит такой густой, неподвижный молочный туман, что в двадцати шагах от крыльца вода и небо сливаются в одну белую стену без горизонта.

Сегодня со мной произошла странная мелкая вещь, которую стоит записать честно, без прикрас. Около полудня, разбирая старые газеты в подпечье, я машинально сунул руку в правый карман штанов — проверить, не пришло ли сообщение на телефон. Пальцы ухватили пустую ткань, и на долю секунды по груди разлился знакомый холодный укол тревоги: пропустил звонок, кто-то ждёт ответа, где зарядка? И только через секунду до меня дошло, что телефон выключен, вынут аккумулятор и зарыт на самом дне брезентового мешка в чулане, а ближайшая базовая вышка осталась за шестьюдесятью километрами тайги и болот.

Какая всё-таки глубокая, почти наркотическая дрессировка сидит в современном человеке! Мы искренне полагаем себя свободными людьми, рассуждаем о независимости ума, но стоит отобрать у нас на трое суток светящийся стеклянный прямоугольник, как мозг начинает

метаться по клетке, требуя мелкой подачки чужого внимания — пусть даже пустякового рабочего письма, рекламной рассылки или чужой фотографии завтрака. Нам невыносимо сознавать, что мир прекрасно вращается дальше без нашего ежеминутного участия и контроля.

После полудня ветер с севера разорвал туман в клочья, и я впервые увидел Веж-озеро во всю его осеннюю ширь: длинное, километров на семь с юга на север, изрезанное каменистыми наволоками и тремя маленькими мохнатыми островками, где поверх тёмной еловой хвои полыхают чистым червонным золотом одинокие осины и рябины. Вода в озере торфяная, цвета крепкого цейлонского чая в тонком стакане, но при этом прозрачная на два метра вглубь — с плоского гранитного лба у бани видно каждый светлый камешек на песчаном дне и стайки мелких полосатых окуней, застывших головами против слабого донного ключа.

Два часа просидел на этом камне совершенно неподвижно, обхватив колени руками, ничего не делая и впервые не испытывая вины за то, что время идёт «впустую». Пожалуй, в городе время действительно уходит сквозь пальцы как песок, потому что мы не присутствуем внутри ни одной минуты — за завтраком мы уже мысленно на совещании, на совещании думаем о вечерней пробке, а вечером перед сном прокручиваем завтрашний список дел. Здесь же, когда смотришь, как жёлтый берёзовый лист падает с ветки на чёрную воду и от точки касания расходятся три медленных круга, минута вдруг обретает свой полный законный объём.

Глава 2. Глина и камень

Двадцать первое сентября.

Четверо суток ушло на печь. Если бы ещё неделю назад в городе мне сказали, что самым главным событием моей осени станет дым, ровно пошедший в трубу без единой струйки в горницу, я бы только вежливо усмехнулся.

Печь в старой избе — это не предмет обстановки и не отопительный прибор вроде чугунной батареи под подоконником, о существовании которой вспоминаешь только тогда, когда в октябре жэк задерживает пуск котельной. Печь здесь — живое каменное сердце дома, вокруг которого вращается вся геометрия твоей жизни и от честности которого в январе будет зависеть, проснёшься ли ты утром.

Когда я разобрал прогоревший свод топливника и вынул раскрошившиеся от полувекового жара красные кирпичи над перевалом, передо мной встала простая ремесленная задача, которую в теории я знал отлично по старым реставрационным справочникам: найти правильную печную глину, отмучить её от известковой крупки, вымесить с мелким речным песком в верной пропорции, чтобы раствор при первой же топке не лопнул паутиной трещин и не высыпался из швов, пропуская угарный газ в сонную избу.

Только справочника под рукой не было, мастерка каменщика тоже не нашлось, а в глиняном обрыве у лесного ручья за угором пласт оказался слоёным: сверху рыжий суглинок с корнями хвоща, а глубже на три штыка лопаты — тяжёлая, маслянистая синяя глина ледникового замеса, холодная как лягушачья кожа.

Я натаскал её в старое деревянное корыто четыре полных ведра, залил озёрной водой на сутки и вчера с утра до сумерек месил эту ледяную вязкую массу босыми ногами и голыми руками до локтей, выбирая пальцами каждый мелкий корешок и камешек. Потом скатал пять пробных шариков с разной долей сеяного берегового песка, высушил их на горячих углях уличного костра и бросил с высоты груди на плоский камень крыльца — точно так, как учили старые ярославские печники времён моего деда: слишком тощий с песком рассыпается в пыль, слишком жирный без песка даёт глубокую рваную трещину при сушке, и только верный, один к двум с половиной, отскакивает от гранита глухим крепким костяным щелчком без единого скола.

Целых полтора десятка целых обожжённых кирпичей со старым клеймом кустарного завода я нашёл сложенными стопкой за баней под крапивой — Фёдор Кузьмич заготовил их заранее для ремонта, да не успел переложить свод. Работал голыми ладонями вместо кельмы, втирая тёплый глиняный раствор в вымоченные водой грани каждого кирпича, проверяя горизонт не лазерным нивелиром, а отвесом из свинцового грузила на суровой нитке.

Весь вчерашний вечер и сегодняшнее утро сушил свежую кладку лёгким осиновым огнём на самом краю шестка при настежь открытой двери, чтобы влага уходила из швов медленно, без закипания пара внутри глины. А за час до заката сложил в топливник первую настоящую клетку из сухих берёзовых поленьев, подсунул под низ кудрявую ленту золотистой бересты и поднёс спичку.

Береста вспыхнула с весёлым маслянистым потрескиванием, выстрелила чёрным кудрявым дымком — и вдруг пламя с низким, ровным, глубоким вздохом вытянулось в хайло! Тяга пошла такая чистая и звонкая, что за прикрытой чугунной дверцей загудело ровно, басовито, как в маленьком кузнечном горне.

Через полтора часа тёплый сухой дух нагретой глины и сосновой смолы потёк от печного бока по всей избе, выжимая из углов двухлетнюю сырость нежилого дерева. Я вымыл перемазанные синей глиной руки тёплой водой из чугунка, сел спиной прямо к шершавому тёплому кирпичу на низкую скамеечку и вдруг почувствовал такую детскую, ничем не замутнённую

тихую гордость, какой не испытывал ни на одной торжественной сдаче городских объектов с перерезанием красных ленточек и фуршетами.

Почему так? Я долго думал об этом вечером при жёлтом огоньке семилинейной керосиновой лампы.

Наверно, беда современного городского труда не в том, что он тяжёл, а в его призрачной опосредованности. Девять десятых взрослых людей всю жизнь перекладывают цифры из одной таблицы в другую, согласовывают подписи под чужими бумагами, продают воздух упаковки — и никогда не видят своими глазами прямого физического плода своих рук. Между твоим усилием и куском хлеба или теплом в твоей комнате лежат двадцать безликих посредников, банковских карт и тарифов. Душа человека, тысячелетиями формировавшаяся вокруг простого и ясного закона — «сложил камень ровно, наколол дров сухо, значит, ночью в твоём доме тепло и никто не замёрзнет», — в мире бумажных абстракций начинает тихо задыхаться от собственной кажущейся ненужности.

Тёплый кирпич за моей спиной сейчас не умеет льстить и не принимает оправданий. Если бы я поленился просеять песок через решето или оставил пустоту в перевязке шва, сейчас по избе полз бы едкий сизый чад, и пенять было бы решительно не на кого — ни на подрядчика, ни на начальство, ни на дурное время. В этой абсолютной личной ответственности за собственное тепло есть удивительное лекарство от взрослого нытья.

Двадцать пятое сентября.

Первая ночь в натопленной избе. Спал не в спальном мешке, а поверх него, укрывшись одним старым шерстяным одеялом, и впервые за полгода проспал девять часов подряд без единого пробуждения и без тяжёлых вязких снов.

Утром вышел на крыльцо босиком в одних шерстяных носках: трава на мысу вся седая от первого крепкого утренника, в старой деревянной бадье под водостоком схватилась тонкая, как оконное стекло, хрустящая ледяная корочка, а над чёрной водой Веж-озера курится в косых розовых лучах густой пар — вода ещё держит летнее тепло и парит на холодном воздухе, словно гигантский котёл.

Странно наблюдать за тем, как меняется за неделю твоя собственная речь, когда рядом нет ни одного собеседника. Первые два дня я ловил себя на том, что нет-нет да и бормочу вслух короткие городские присказки — уронив полено или отыскивая нож на столе, точно мне нужен невидимый зритель в углу горницы, перед которым надо оправдаться за неловкость. А со вчерашнего дня эта привычка отпала сама собой. Оказывается, добрая половина слов, которые мы произносим за день среди людей, служит вовсе не для передачи смысла, а лишь для того, чтобы заслониться звуком от неловкой паузы и обозначить границы своей территории. Лесу твои объяснения не нужны: сосна за окном одинаково спокойно смотрит и на твою удачу, и на твою оплошность.

Глава 3. Урок топора

Тридцатое сентября.

Всю последнюю неделю сентября занимался главным делом предзимья — дровами.

В дровянике за избой от Фёдора Кузьмича оставалось около двух кубометров старых осиновых и сосновых поленьев позапрошлогодней колки — лёгких, звонких как кость, но для долгой северной зимы с декабря по апрель этого хватит от силы на месяц с небольшим. Чтобы перезимовать спокойно и не бегать в февральские метели с пилой по грудь в снегу за сырым валежником, мне нужно поставить под навес минимум десять-двенадцать плотных складометров сухостойной сосны и ветровальной берёзы с дальнего выруба за ручьём.

Первые два дня я работал так, как привык работать в городе над срочным заказом: с ожесточением, на сжатых зубах, стараясь повалить, распилить лучковой пилой на чураки и перетаскать к дому как можно больше до заката, постоянно поглядывая на кучу сделанного и раздражаясь, как медленно растёт поленница у глухой стены.

Итог этой городской штурмовщины наступил к вечеру второго дня. Оба волдыря на правой ладони и у основания большого пальца левой лопнули в кровь, окрасив гладкое берёзовое топорище бурыми пятнами; поясницу прихватило такой острой свинцовой судорогой, что я едва донёс с озера половину ведра воды, а последний свилистый комлевой чурак упрямо зажал клин колуна намертво посредине сучка, сколько я ни колотил обухом об плаху в слепой злости.

Вечером, промывая содранные ладони крепким настоем тысячелистника и смазывая их несолёным топлёным маслом из запасов чулана, я сидел над кружкой и смеялся над собственной глупостью.

Двадцать лет подряд я жил в режиме насилия над временем — сдать к понедельнику, обогнать смету, выжать из дня лишние три часа за счёт сна и тишины. В городе эта лихорадка поощряется и называется целеустремлённостью. А в лесу она оборачивается сорванной спиной на третий день осени, когда рядом нет ни аптеки, ни сменщика. Дерево росло на этом каменном косогоре восемьдесят лет, прибавляя по полтора миллиметра древесины в год; оно не суетилось ни одной весной, и взять его нахрапом, суетливым наскоком дёрганого горожанина нельзя.

На следующее утро я обмотал ладони мягкими полосками старого льняного полотенца и вышел к козлам совершенно иначе.

Я перестал считать чураки. Прежде чем опустить лезвие лучковой пилы на ствол сухостойной сосны, я выровнял дыхание по ходу полотна: спокойный глубокий вдох на движении к себе, длинный свободный выдох от себя, без нажима плечом — давая разведённым зубьям самим грызть сухую янтарную древесину под собственным весом дуги. А когда встал к дубовой плахе с колуном, начал сначала минуту разглядывать торец каждого полена, отыскивая тонкую радиальную трещинку усушки и обходя мёртвые смоляные пасынки сучков по касательной, как учили старики: не силой рук бить в дерево, а ронять тяжёлую сталь с верхней точки по собственной дуге тяжести, чуть подворачивая пятку топора в последний миг удара.

Дзынь! — и толстый мёрзлый с утра берёзовый кругляк распадается пополам с чистым белым шелковистым расколом, отдавая в лицо прохладным, чуть сладковатым запахом свежей древесной плоти и грибницы!

Удивительно: работая вполовину медленнее и останавливаясь каждые сорок минут посидеть пять минут на тёплом пне, глядя на синюю рябь озера, я к закату сложил в поленницу почти в полтора раза больше ровных плах, чем в первый день на надрыве, и пришёл в избу со спокойной, приятной мышечной тяжестью вместо дрожи в коленях.

Вот первый настоящий урок, который лес записал мне прямо в кожу ладоней: спешка почти никогда не рождается от избытка дел — она рождается от внутреннего страха и недоверия к жизни. Человек суетится тогда, когда не верит, что он находится на своём месте, и ста-

рается проскочить настоящее поскорее ради какого-то воображаемого «потом», когда наконец можно будет выдохнуть и зажить. Но «потом» устроено точно из таких же сегодняшних часов; кто не умеет ровно дышать над одним сосновым чураком во вторник, не сумеет спокойно прожить и целую жизнь.

Четвёртое октября.

Поленница вдоль северной стены избы дошла сегодня до самой застрехи крыши — плотная, выложенная корой вверх на берёзовых подкладках, с двумя перевязанными клетями по углам, чтобы не рассыпалась по весне, когда оттает южная сторона земли. Смотрю на эту светлую стену колотого дерева — белые торцы берёзы, медово-розовые срезы сосны, кирпично-оранжевая на воздухе ольха, припасённая отдельно для прочистки дымохода от сажи, — и понимаю, что впервые за много лет вижу перед глазами собственное время, переведённое в честную, осязаемую меру зимнего тепла. Каждое полено здесь — это один час тихого огня в декабрьскую ночь и две страницы прочитанной или написанной книги.

Лист с берёзы и осины на мысу почти весь облетел после вчерашнего северного шквала. Лес сразу стал сквозным, строгим и графичным, как старая гравюра тушью: исчезла летняя зелёная ширма, прятавшая рельеф, открылись дальние сизые увалы за озером, валунные россыпи во мху и старая тропа вдоль восточного берега, ведущая, судя по карте Фёдора Кузьмича, к нежилой деревне Высокий Дор. Завтра с утра, пока стоит сухая звонкая погода без дождя, хочу сходить туда налегке с одним котелком и топориком за поясом.

Глава 4. Мёртвая деревня Высокий Дор

Девятое октября.

Вчера ходил за шесть вёрст на Высокий Дор и вернулся только в глубоких сумерках — так долго не мог заставить себя уйти с того высокого безлесого холма над речкой Вежей, вытекающей из нашего озера на севере.

Я видел в своей реставрационной практике немало заброшенных усадеб и закрытых среднерусских сёл вдоль трасс, но там запустение почти всегда несло на себе печать мелкого придорожного мародёрства: выломанные ради цветного металла провода, битые бутылки, кривые надписи краской на штукатурке, вывороченные в поисках старинных монет половицы. До Высокого Дора нет автомобильной дороги ни зимой, ни летом — от мира его отрезают тридцать вёрст болот и порожистая лесная речка, и потому деревня из четырнадцати огромных северных домов-кошелей умирала здесь в полном уединении, тихо и достойно, как уходят в землю вековые великаны в глубине заповедного бора.

Тропа вывела меня из тёмного ельника прямо на крутой глинистый угор, поросший рыжим от заморозков вереском и кустами можжевельника.

Вдоль одной-единственной прямой улицы, обращённой всеми окнами на полуденное солнце и излучину тёмной быстрой речки внизу, стояли в два ряда высокие двухэтажные срубы из почерневшей до серебряного воронения лиственницы и сосны, под одной громадной двускатной крышей объединявшие и зимнюю избу, и летнюю горницу, и поветь со взвозом для лошади, и нижний скотный двор. У трёх крайних изб крыши уже провалились внутрь под тяжестью двадцати зимних снегов, обнажив мощные резные охлупни с конскими головами, заросшие зелёными подушками мха; но средний дом с шестью светлыми окнами и резным причелинным кружевом под карнизом стоял ещё почти целым, с закрытыми ставнями и сухой тесовой дверью на деревянной вертушке.

Я снял шапку у порога — сам не знаю почему, верно, по старой привычке не входить в чужую тишину как хозяин, — повернул вертушку и поднялся по широкой внутренней лестнице с точеными балясинами в чистую горницу второго этажа.

Внутри пахло сухим столетним деревом, пыльцой пижмы и зимним холодом огромного пустого дома. Никто ничего здесь не громил: люди уходили отсюда в конце семидесятых или начале восьмидесятых годов по укрупнению неперспективных лесных поселений, увозя на санях по зимнику только самое лёгкое и насущное, а всё тяжёлое оставив в родных стенах так бережно, будто надеялись ещё вернуться к сенокосу.

В красном углу висела пустая киотная полочка с сухим пучком позапрошлогоднего вербного прутика и вышитым крестиком по пожелтевшему льну рушником, истлевшим по сгибу до паутины. У окна стояла высокая тонконогая прялка из карельской берёзы с расписной лопастью — красные северные птицы и выцветшее жёлтое солнце в зубчатом круге, — а на стене рядом с русской печью белел отрывной календарь за тысяча девятьсот семьдесят восьмой год, навсегда остановленный на листке «14 октября. Покров Пресвятой Богородицы».

На широком подоконнике среди сухих крылышек лесных мух и сосновых иголок, надутых сквозь щель рамы, лежала тонкая ученическая тетрадь в косую линейку с синей промокашкой внутри — журнал учёта книг передвижной избы-читальни или записи старой одинокой хозяйки дома. Карандашные строчки на первых страницах читались совсем легко:

«12 мая. Скворцы сели на старую берёзу у колодца. Марфа с нижнего конца принесла полкринки простокваши, болит поясница к дождю».

«29 августа. Колька писал из Архангельска, зовут к себе на зиму в каменный дом на четвёртый этаж, говорят — дров носить не надо и вода тёплая из стены. А как я печь свою брошу и речку? В каменном доме на четвёртом этаже и помереть страшно — высоко от земли».

И последняя строчка внизу страницы, выведенная чуть мельче и твёрже:

«13 октября. Завтра за нами придут тракторные сани с лесопункта. Уложила зимние катанки, самовар медный и карточки Андрюши с фронта. Заслонку в печи закрыла, дрова сухие в сенях оставила на три топки, ежели кто с дороги замёрзнет. Господи, благослови этот дом».

Я стоял у серого немытого стекла, глядел сквозь него на свинцовую петлю речки Вежи под холмом, и у меня перехватывало горло не от жалости к этой давно ушедшей неведомой женщине — она-то прожила свой век цельно, чисто, оставив даже незнакомому путнику через сорок с лишним лет сухие дрова в сенях, — а от стыда за ту суетливую, одноразовую лёгкость, с какой мы, сегодняшние люди, обращаемся со своими домами, вещами, словами и привязанностями.

Мы живём на черновик, во временных съёмных стенах из гипсокартона, среди одноразовой мебели из прессованных опилок, которую проще выбросить на свалку при переезде, чем починить; мы легко меняем города, номера телефонов, имена близких людей, искренне веря, что за следующим поворотом начнётся настоящая, чистовая глава. А у человека нет никакого черновика. Вся его жизнь пишется сразу набело — вот этим самым сегодняшним днём, тем, оставил ли ты за собой сухую охапку дров в сенях и чисто подметённый пол, даже если твёрдо знаешь, что завтра утром за тобой придут сани и ты больше никогда не переступишь этого порога.

Я аккуратно положил тетрадь в косую линейку обратно на подоконник точно на то же светлое невыгоревшее пятнышко дерева, где она пролежала сорок восемь зим, поправил покосившийся засов на нижних воротах повети, чтобы снегом не надувало в сруб, и пошёл назад к своему озеру.

Возвращаясь в сумерках к кордону и увидев сквозь тёмные сосны низкую крышу своей избы на мысу, я впервые мысленно назвал это место не «зимовьем Кузьмича» и не «кордоном», а коротким словом «домой».

Двенадцатое октября.

Ночью с севера пришёл первый настоящий заморозок без снега — сухой, звонкий, в шесть градусов ниже нуля.

Земля на тропе к ручью окаменела и гулко звенит под каблуками сапог, как чугунная плита. Мох на кочках стал седым и хрупким, точно стеклянное кружево: наступишь — и под подошвой тихо хрустят сотни крошечных ледяных веточек. Всю вторую половину дня конопатил сухим болотным сфагнумом северные углы сруба с деревянной лопаткой-конопаткой и киянкой, вытесанной из комлевой берёзы. Сфагнум — удивительная трава: намоченный в тёплой воде и плотно забитый в паз между брёвнами, он высыхает в упругий тёплый войлок, не гниёт десятилетиями и не пускает в щели ни ветра, ни древесного жучка.

Вечером вынес на берег старое рассохшееся деревянное корытце, утопил на мелководье у бани старую кузьмичёвскую еловую кадушку, придавив камнем, чтобы клёпки разбухли и стянулись в обручах без течи: пока озеро не стало под лёд, надо успеть проверить и поставить старую ставную сеть из чулана у камышовой луды и засолить впрок хотя бы полтора десятка щук и крупных окуней. С одной крупой да сухарями в январские морозы далеко не уедешь — организму в лесу нужен честный рыбий жир и соль.

Девятое октября.

Сегодня, в ясный, прохладный, чуть сырой день, я вышел на берег Веж-озера и стоял, глядя на воду, на чёрную, стальную, вздрагивающую поверхность, и в этой стоячей, спокойной, почти мертвенной воде — вот где, кажется, и есть одна из главных радостей осенней поры.

Осень не кипит, как лето, не сверлит, как весна, не застывает, как зима — осень просто **стоит**, стоит и смотрит, и в этом стоячем, спокойном, созерцательном стоянии — вот что, кажется, и есть главное в осеннем лесу: здесь не нужно никуда бежать, здесь не нужно ничего

ловить, здесь не нужно спешить — здесь просто можно быть, стоять, смотреть, и в этом стоянии — вот где, кажется, и есть одна из главных радостей осенней жизни.

Лес, осенью, как человек в годах, который уже всё понял, уже всё пережил, и теперь просто стоит, смотрит, и в этом смотрении — вот где вся его мудрость, вот где вся его глубина, вот где вся его красота.

И в этом — вот в этом — и есть то, что я теперь ценю в лесу больше всего: не его буйство, не его сила, а именно это стоячее, спокойное, созерцательное стояние, в котором есть всё.

Одиннадцатое октября.

Сегодня, в прохладный, спокойный, едва заметно сырой день, я сидел на крыльце и смотрел на озеро, и в этой тишине, в этом покое, в этом стоячем, неподвижном зрелище — вот где, кажется, и есть одна из главных радостей осенней избы: здесь, под крышей, в тепле, в тишине, в уютном покое, можно просто сидеть, смотреть, и думать о том, что жизнь — не в действии, не в событии, не в активности, а в этом тихом, спокойном, умиротворённом покое.

И в этом покое — вот в этом — и есть то, что я теперь считаю одной из величайших ценностей лесной жизни: здесь, в этой тишине, в этом тепле, в этом покое, можно просто быть, и в этом простом, тихом, умиротворённом бытии — вот где, кажется, и есть вся глубина, вся мудрость, вся радость этой жизни.

В этом — вот в этом — и есть то, что в городе не найдёт никогда.

Тринадцатое октября.

Сегодня, в ясный, прохладный, чисто осенний день, я ходил по лесу и вглядывался в кроны, в травы, в камни, и в этой ясности, в этой прозрачности, в этой чуть холодной, чуть прозрачной, чуть звенящей осенней поре — вот где, кажется, и есть одна из главных радостей осеннего леса: здесь всё ясно, всё прозрачно, всё понятно, здесь нет того, что есть в другие времена года — тумана, хмари, неясности.

Здесь всё на виду: и прошлое, и будущее, и настоящее, и вся жизнь, и вся мудрость, и вся радость.

И в этой ясности, в этой прозрачности, в этом полном, незатуманенном видении — вот что, кажется, и есть главное в осеннем лесу: здесь можно ясно, чётко, спокойно увидеть всё, что есть, и в этом видении — вот где, кажется, и есть вся ценность осенней жизни.

Глава 5. Хлеб и соль озера

Шестнадцатое октября.

Утром с каменистого наволока поднялась последняя стая гуменников.

Я услышал их ещё в избе сквозь двойные рамы, которые вчера промазал по периметру тёплой замазкой из мела и старой олифы: высокий, тревожный, перекликающийся гортанный клич прошёл прямо над коньком крыши. Выскочил на крыльцо без телогрейки, в одной рубахе — низко над свинцовой гребёнкой ельника на юг тянулся длинный неровный клин в сорок с лишним тяжёлых птиц. Передний вожак шёл трудно, против встречного сырого ветра, то и дело уступая место второму в строю, и вся стая разговаривала в воздухе короткими глухими выкриками, подбадривая отставших молодых сеголетков на правом крыле.

Через две минуты они растаяли в серой мгле над Моховым болотом, и сразу стало понятно: отсрочка кончилась. Птица ушла от большой воды — значит, через две-три недели закраины схватятся льдом.

Еловая кадушка за трое суток в воде разбухла на славу: клёпки сомкнулись так плотно, что в швах не проступило ни единой слезинки, когда я выкатил её на берег, ошпарил крутым кипятком с можжевеловыми лапами и прокатал внутри раскалённым на костре серым булыжником. Камень шипел в распаренном дереве, выгоняя из старых пор кисловатый дух позапрошлогоднего тузлука и наполняя всю баню густым смолистым ароматом горячего можжевельника, от которого кружилась голова.

Старая плоскодонка Кузьмича — узкая, смолёная северная лодка-шестёрка с крутым развалом бортов — лежала вверх килем на козлах под береговыми ольхами. Древесина на днище посерела, но нигде не подгнила: старик строил её из лёгкой мелкослойной ели и каждый сентябрь проваривал пазы сосновым варом пополам с оленьим салом. Мне оставалось только подбить деревянные нагели на уключинах, засмолить две солнечные трещины у форштевня да перебрать в тёплой избе тридцатиметровую ставную сеть-одностенку.

Вот уж не думал, что починка старой рыбацкой снасти деревянной иглицей-челноком может действовать на ум лучше любого успокоительного снадобья.

Сидишь на лавке у южного окна, нацепив верхнюю тетиву сети на деревянный гвоздь в косяке; пальцы сами быстро привыкают к счёту ячеек и плоскому шкотовому узлу, который не ползёт под нагрузкой на мокром капроне. Верхние поплавки у Кузьмича сделаны не из покупного пенопласта, который крошится на морозе и гремит о деревянный борт лодки, пугая осторожную осеннюю рыбу, а из свёрнутых в тугие трубочки и вываренных в кипятке цилиндров чистой бересты — тёплых, бесшумных, вечных. Нижние грузила — те же берестяные свитки, но с зажатым внутри плоским камешком-галькой: такие «кибасья» никогда не запутываются в ячее при выборке сети в ледяной воде окоченевшими руками. Какая тонкая, выверенная столетиями крестьянская инженерия, где нет ни единой покупной детали, ни грамма лишнего мусора, который останется гнить в озере после человека!

В сумерках вывел плоскодонку на воду и поставил сеть поперёк глубокой бровки у дальнего камышового островка, где дно круто падает с двух метров в шестиметровую чёрную яму. Вода за бортом такая холодная и плотная, что кажется густой, как постное масло; с лопастей лёгких еловых вёсел срываются тяжёлые свинцовые капли, и на расходящихся за кормой усах волны долго качаются чёрные ольховые шишечки.

Девятнадцатое октября.

Три утренние зорьки на воде — и кадушка в холодном чулане заполнена на две трети.

Проверять сеть в октябре надо на самом рассвете, пока ветер не развел крутую короткую волну. Выходишь из избы в серой предутренней мгле, в воздухе пахнет мокрой хвоей и близким снегом; берёшься за обледеневшие за ночь рукояти вёсел, и первые десять минут руки

в суконных рукавицах ломит от мокрого капронового шнура так, что зубы сводит. Но вот из тёмной глубины начинает подниматься серая лента полотна, и на трёхметровой глубине глухо, тусклым стальным слитком вспыхивает широкий пятнистый бок глубоководной озёрной щуки.

Осенняя северная щука совсем не похожа на травянистую зелёную летнюю хищницу речных заводей: спина у неё угольно-чёрная под цвет торфяного дна, брюхо плотное, фарфорово-белое, плавники тёмно-багровые, с нагулянной к зиме тугой икрой и лентами жёлтого нутряного жира вдоль хребта. Вместе со щуками в нижнюю треть сети зашли горбатые глубинные окуни весом под два фунта каждый — колючие, бронзовые, с ярко-алыми перьями хвостовых плавников — и три тяжёлых серебряных сига, холодных и твёрдых, с нежным запахом свежего огурца.

Когда я вытаскивал на дощатый настил у бани утренний улов и брал в руку тяжёлую колотушку, чтобы одним коротким, точным ударом по затылку прекратить беззвучное биение жабр и не давать рыбе долго задыхаться на воздухе, я впервые за всю свою жизнь так близко задумался о цене чужой жизни, которой кормится всякое живое существо на земле.

В городе мы устроили вокруг этого удивительно лицемерную декорацию. Мы покупаем в ярко освещённом магазине аккуратный розовый брусок филе на белой пенопластовой подложке под прозрачной плёнкой, брезгливо морщимся при виде капли крови на прилавке, охотно рассуждаем за ужином о гуманности и при этом выбрасываем в мусорное ведро треть недоеденного куска просто потому, что он полежал в холодильнике лишние сутки и потерял ресторанный вид. Мы переложили всю тяжесть смерти на чужие невидимые руки за бетонными заборами комбинатов и возомнили себя безгрешными существами, питающимися чистыми калориями с этикеток.

Здесь эта ложь исчезает в первую же минуту.

Ты сам ставишь сеть в ледяную воду, сам смотришь в круглый золотисто-чёрный глаз живой щуки, сам берёшь на душу её быструю смерть и сам потрошишь её на плоском прибрежном валуне под крики двух старых воронов, сидящих на верхушке сухой ели и терпеливо ждущих своей законной доли — рыбьих потрохов и жабр. И именно поэтому у тебя не поднимется рука взять из озера хотя бы одним хвостом больше, чем нужно твоей соляной кадушке на зиму, или выбросить зря хотя бы кусок тёщи или хребта. Из голов и плавников варится густой янтарный навар ухи, щучья икра пробивается через чистую еловую мутовку от плёнок и присаливается в отдельной глиняной банке на морозы, а выпотрошенные и досуха протёртые чистой тряпицей без мытья в воде тушки надрезаются вдоль толстой спины, густо пересыпаются крупной серой солью с лавровым листом и укладываются в кадушку спинками вниз, ряд за рядом, крест-накрест, под тяжёлый гранитный гнёт на осиновом кружке.

Сегодня утром снял сеть с озера насовсем, промыл её от веточек рдеста, развесил на вешалах за баней до полного высыхания и убрал обратно в ларь. Мне хватит до самого апреля. Брать сверх меры — значит красть у самого озера и у собственной весны.

Глава 6. Гость с сорок четвёртого километра

Двадцать четвёртое октября.

Вчера в сумерках, когда я сидел на крыльце и насаживал на свежевыструганное берёзовое топорище малый плотницкий топор, расклинивая пропил сухим можжевеловым клином на столярном клею, со стороны верхнего сосняка вдруг донёсся сухой кашель и стук окованного железом посоха о корни.

Я даже вздрогнул от неожиданности: за полтора месяца ухо настолько отвыкло от человеческого шага и голоса, что скрип кожаного ремня и покашливание среди сосен прозвучали громче пушечного выстрела.

Из-за сизого куста багульника вышел путевой обходчик Михеич — в промасленном брезентовом дождевике с откинутым капюшоном, с плоским станковым понягой-крошнями за спиной и старенькой одностволкой шестнадцатого калибра на плече. Сухое морщинистое лицо его разрумянилось от быстрой ходьбы по мёрзлому лесу, седые брови заиндевели, но дышал шестидесятивосьмилетний старик после тридцати двух вёрст болотного волока ровнее, чем я после подъёма с двумя вёдрами от озера.

— Здорово дневал, отшельник! — крикнул он ещё от бани, прищуриваясь на мою свежую высокую поленницу вдоль глухой стены и ровный столбик прозрачного берёзового дыма из трубы. — А я гляжу с тропы: дым столбом, дрова под застреху в клетку сложены корой кверху, угол сфагнумом пробит — стало быть, живой племянник, не угорел и волками не съеден!

Скажу откровенно: в первую секунду, когда я увидел на тропе человека, внутри у меня шевельнулось странное двойственное чувство — сначала ревнивый укол («нарушили мою выстроенную тишину, сейчас придётся снова разговаривать!»), а следом за ним тёплая, простая человеческая радость, от которой я сам смутился и бросился ставить на плиту большой медный чайник Фёдора Кузьмича.

Михеич пришёл неспроста. Через неделю-другую начнутся затяжные ноябрьские дожди со снегом, Моховое болото расквасит ледяной кашей поверх тонкого непрочного ледка — наступит глухая осенняя распутица, когда ни пешком, ни на лыжах через трясину не пройдёшь вплоть до коренных декабрьских морозов. По старому неписаному правилу таёжных соседей старик сдал смену на разъезде напарнику на двое суток и сделал крюк в шестьдесят с лишним вёрст, чтобы перед большой зимней отсечкой своими глазами убедиться, что городской человек не слёг с горячкой и не сидит у развалившейся печи без дров.

Но вслух он, разумеется, сказал совсем другое, снимая с плеч крошни в сенях:

— Да я не к тебе вовсе шёл, не больно возносись! На Моховом по краю гривы глухари на лиственницу вылетают хвою щипать, дай, думаю, разомну старые кости за рябчиком, а тут уж семь вёрст крюка до Вежи — грех на Кузьмичёво пепелище не завернуть. На-ко вот, в казарме в ящике стекло нашёл семилинейное для твоей второй лампы, в бересту завернул, чтоб не хряснуло дорогой, да пачку кирпичного чаю грузинского — Кузьмич его уважал шибко, с чагой заваривал.

Я нарезал на чистой липовой доске крутую малосольную щучью спинку с кольцами сушёного размоченного лука, поставил на стол горячую пшённую кашу в чугунке, упревшую в вольном печном духу под холстиной, и сухари. Михеич вынул из поняги двух рябчиков в пестром осеннем пере и круглую ржаную ковригу домашней выпечки своей сестры с сорок восьмого километра — тяжёлую, кисло-сладкую, с пригоревшим на капустном листе нижним боком. Когда он разломил эту ковригу над столом обеими руками, по избе поплыл такой забытый с детства живой хлебный дух, что у меня невольно защипало в носу.

Просидели мы за столом при мягком жёлтом свете лампы далеко за полночь.

Говорили нечасто, с долгими, ничуть не тягостными паузами, когда оба молча смотрели на красную полоску углей в поддувале и слушали, как за тёмным окном шумит в соснах верховой ветер с озера. Городская беседа почти всегда похожа на настольный теннис: пока собеседник договаривает фразу, ты не столько слушаешь его, сколько лихорадочно готовишь свою ответную подачу, чтобы показаться остроумным, знающим или значительным. Здесь, у печи, мне вдруг не хотелось ничего доказывать старику. Я наливал в кружки густой чёрно-рубиновый настой берёзовой чаги со старым прессованным чаем и слушал рассказ о человеке, чьими ложками я ел и под чьей крышей собирался зимовать.

Я ведь почти не знал двоюродного деда взрослым — только мальчишеское воспоминание о высоком молчаливом человеке с седой бородой и сухими горячими ладонями, который учил меня в двенадцать лет вырезать дудочку из ивовой коры и никогда не повышал голоса. Оказалось, Фёдор Кузьмич пришёл на Веж-озеро насовсем в семьдесят четвёртом году, в тридцать восемь лет — почти ровесником мне нынешнему, — после того как в весеннее половодье на Вычегде под молевым сплавом леса перевернуло моторную лодку с его молодой женой Антониной и пятилетним сыном. Тела нашли только через две недели у нижней запани.

— Первую зиму мы на разъезде все думали: не выдюжит Фёдор один в лесу, петлю накинет али запьёт по-чёрному, — тихо говорил Михеич, грея узловатые пальцы о жестяную кружку. — Многие ведь мужики от беды в тайгу бегают, племянник, я за сорок лет на линии всяких нагляделся. Иной приедет гордый, с ружьём дорогим, бороду отпустит — дескать, пропадай ваш мир пропадом! А к Покрову волком взвоет от собственной башки: в лесу-то свалить не на кого, и кабака за углом нету. Злой человек в одиночестве чернеет быстро, как гнилой гриб-дождевик — внутри одна чёрная пыль остаётся. А Кузьмич перезимовал ту первую зиму без единой капли спиртного, весной яблоню-дичку у крыльца посадил, пост водомерный принял на озере — каждый день в восемь утра да в восемь вечера ходил к проруби рейку мерить, тетрадки вёл казённые аккуратно, точно часовщик. К нему потом со всей округи охотники за тридцать вёрст заворачивали просто так, чайку попить да помолчать рядом. Спокойный стал старик, светлый, как зимняя сосна: снаружи кора грубая, в трещинах от мороза, а внутри ядро чистое, звонкое.

Михеич помолчал, поглядел на мою раскрытую серую тетрадь на краю подоконника с заточенным карандашом сверху, но ни о чём расспрашивать не стал — зачем приехал, от какой беды или пустоты ушёл из города, оставил ли кого там. Только когда уже стелил себе тулуп на нижней широкой лавке, бросил в темноту горницы спокойно и веско:

— В ноябре, Илья Андреевич, недели три самые глухие пойдут, до коренного снега. Свету с гулькин нос, мокреть чёрная, и ни пешему, ни конному ходу нет. Ежели прижмёт тоска под ложечкой — ты на полатях днём не лежи ни часу, слышь? Хоть ложки режь, хоть полы песком с дресвой скобли до желтизны, а руки держи в деле. В ноябре лес каждого новичка на излом пробует — пустой ты орех али с ядром. Перешагнёшь снежный рубеж — дальше зима сама понесёт, зима здесь чистая.

Утром на рассвете Михеич ушёл обратно на свой сорок четвёртый километр.

Я проводил его до сухой сосновой гривы у спуска к болоту. Мы коротко пожали друг другу руки — сухая, твёрдая, как можжевеловый корень, стариковская ладонь и моя, уже успевшая загрубеть на мозолях от колуна, — и условились просто и твёрдо: если всё ладно, до мартовского наста никто никого не ищет; а случись крайняя беда зимой, когда встанет болото, — лыжня до казармы прямая по старым затёскам.

Когда его брезентовый плащ скрылся за серой стеной ольховника, я вернулся в избу, поставил подаренное семилинейное стекло во вторую лампу и долго смотрел на половинку домашней ржаной ковриги на столе, накрытую чистым льняным полотенцем.

Как мало, оказывается, нужно людям, чтобы между ними возникло настоящее братство: не десятки общих знакомых, не одинаковые взгляды на политику или искусство, не ежедневная

болтовня в переписке, а одно хрупкое ламповое стекло, пронесённое в бересте через тридцать две версты замёрзшего болота, чтобы другому человеку в ноябрьской темноте не пришлось сидеть при лучине.

Глава 7. Ноябрьская слепота

Седьмое ноября.

Михеич знал, о чём предупреждал.

Вот уже девятые сутки над Веж-озером нет ни неба, ни земли, ни осени, ни зимы. Наступил глухой северный чернотроп — самое безвидное и тяжёлое время года, когда старый мир уже разделся догола, почернел и вымок до последней хвоины, а новый белый покров ещё не смеет лечь на незамёрзшую топь.

Рассветает теперь только к половине десятого утра — да и рассветом это назвать трудно: просто чёрная непроглядная смола за маленьким квадратом стекла медленно разбавляется мутной оловянной водой, сквозь которую сочится мелкая ледяная морось пополам с мокрой снежной крупой. Снежинки падают в почерневший ягель и тут же тают, оставляя на ветвях елей тяжёлую холодную слизь. В три часа пополудни серое олово за окном так же незаметно густеет обратно в чернильную тьму — и впереди семнадцать непрерывных часов ночи под низкий, однообразный, сводящий с ума гул мокрого северо-западного ветра в печной трубе и грохот чёрного прибоя о береговые камни под баней.

Озеро в эти дни не узнать: оно потемнело до цвета чугуна, вздулось от дождей и бьётся в гранитный наволок короткими злыми валами с жёлтой болотной пеной. Лодку я давно вытащил на катки высоко под сосны и перевернул вверх дном, дров наколото с верхом, крыша проконопачена, сеть убрана — вся горячая, спасительная гонка наружного обустройства, державшая меня в бодром напряжении первые полтора месяца, вдруг разом оборвалась.

И вчера вечером меня впервые по-настоящему накрыло.

Это началось без всякого видимого повода около восьми вечера — по городскому времени разгар обычного буднего вечера, когда на проспектах горят тысячи витрин и люди только ужинают, а здесь за стеной уже пять часов стоит глухая полночь. Я допил кружку горячего взвара, закрыл вьюшку в печи, дунул в ламповое стекло, экономя керосин, и лёг на полати.

В избе стало абсолютно темно — так темно, что ты подносишь собственную ладонь на расстояние вершка к открытым глазам и не видишь даже смутного серого контура пальцев.

Только мерный шорох ледяного дождя по тесовой крыше да глухой удар озёрной волны внизу под обрывом. Один удар. Второй. Сотый. Тысячный.

И вдруг где-то в солнечном сплетении шевельнулся и быстро полез к горлу холодный, липкий ком животной клаустрофобии. Мне показалось, что низкий бревенчатый потолок избы опустился на полметра ниже, что за тёмными соснами на тридцать километров вокруг лежит непроходимая ледяная трясина, отрезавшая мне всякий путь назад: случись что сейчас — ни мотрисы, ни врача, ни единого живого лица до самой зимы, только эта бревенчатая коробка четыре на пять шагов посреди бесконечного мёртвого леса! Зачем я здесь?! Кому и что я пытался доказать этим побегом в сорок один год? Сейчас в городе сухо и светло, в старой кофейне на углу Покровской пахнет молотым зерном и мокрыми шерстяными пальто, люди смеются за запотевшими витринами, а я добровольно похоронил себя заживо в старой лесной конуре и слушаю, как мышь шуршит сухой берестой под полом...

Сердце колотилось в рёбра часто и гулко, ладони взмокли, и рука сама потянулась в темноте к коробку спичек — немедленно зажечь обе лампы на полный фитиль, распахнуть печную дверцу, набросать сухих лучин, включить хотя бы на пять минут выключенный телефон в чулане просто ради холодного голубого свечения экрана, где в памяти лежат старые городские фотографии и чужие голоса!

Я уже чиркнул было спичкой о фосфорный бок коробка — и остановил пальцы в воздухе, не дав головке вспыхнуть.

Сел на краю полатей, спустив босые ноги на прохладные половицы, и заставил себя медленно, с расстановкой вдохнуть носом сухой смолистый воздух избы и посмотреть прямо в лицо этому страху, не зажмуриваясь и не заслоняясь искусственным светом.

Кто именно сейчас паникует во мне?

Телу моему ничто не угрожает: я сыт, здоров, в избе двадцать градусов сухого печного тепла, за стеной двенадцать кубометров отборных берёзовых дров, в чулане мешок крупы, мука и полная кадка просоленной рыбы. Значит, кричит и бьётся о стены не инстинкт выживания, а растерявшаяся городская личность — то самое внешнее, социальное «я», которое сорок лет привыкло подтверждать факт собственного существования только через отражение в чужих зрачках, через должности, звонки, расписание и шум улицы. Оставшись без зеркал и без аплодисментов в семнадцатичасовой ноябрьской темноте, оно вдруг с ужасом обнаружило, что само по себе весит исчезающе мало, и испугалось раствориться в тишине без остатка.

Мы всю жизнь боимся не одиночества — мы боимся остаться наедине с тем человеком, которым на самом деле стали под всеми своими костюмами и дипломами.

Я не стал включать телефон и не развёл лишнего огня. Зажёг тонкую восковую свечу-огарок на полчаса, умылся до пояса ледяной озёрной водой из кадки в сенях так, что кожа на груди и плечах загорелась жарким румянцем, вытерся жёстким суровым рушником и сел за стол устанавливать для себя твёрдый внутренний устав на всю тёмную пору до декабря.

Никакого валяния на полатях при свете дня и никаких праздных мечтаний о прошлом. Подъём ровно за час до серого рассвета при любом ветре. Холодное обливание в сенях, растопка печи, каша, уборка избы и мытьё некрашеных сосновых половиц голиком с крупным береговым песком раз в три дня, как советовал Михеич. Днём в короткое светлое окно — работа на воздухе под дождём в брезентовом плаще: расчистка русла родникового ручья от бурелома, тёска новых еловых плах для весеннего ремонта крыльца, заготовка свилеватых берёзовых капов и сухой прямослойной осины. А с четырёх часов дня до девяти вечера у одной прикрученной вполнакала керосиновой лампы — мелкое столярное ремесло на верстачной доске и два часа неторопливого чтения и письма.

Четырнадцатое ноября.

Седьмой день моего «монастырского устава», и от той ночной паники не осталось даже пепла — словно переболел короткой осенней лихорадкой и вышел из неё с прояснившейся головой.

Удивительное открытие этих тёмных вечеров: когда глаза лишены избытка красок, а руки заняты тихой сосредоточенной резьбой по дереву, в человеке просыпается особое осязательное зрение. Я вырезал за неделю из пропаренного в солёной воде берёзового баклуша три глубокие хлебальные ложки и широкий черпак для ухи, отшлифовав их сначала сухим стеблем зимующего хвоща — в нём столько природного кремнезёма, что он берёт древесину тоньше и чище любой мелкой наждачной бумаги, — а потом проварил в льняном масле на водяной бане до тёплого янтарного свечения волокон.

Как инженер-реставратор я двадцать лет чертил профили карнизов на экране компьютера мышью, а здесь третий вечер держу на коленях тёплую свилеватую заготовку, слушаю тонкий шёлковый шелест острого косячка и клюкарзы, снимающих полупрозрачную завитушку стружки, и впервые чувствую сопротивление и согласие живого материала кончиками пальцев. Если поведёшь резец против косослоя с нажимом — сталь зароется вглубь и выколет щепу; поведёшь по росту волокна с уважением к внутреннему рисунку дерева — срез выходит зеркальным, будто оплавленным воском.

С собственной душой, сдаётся мне, точно так же. Половину жизни мы режем себя тупым железом поперёк естественного волокна — заставляем любить то, что престижно, стремиться туда, куда бегут соседи, стыдиться своей тишины и медлительности, — а потом удивляемся, отчего внутри всё в задирах и трещинах.

Глава 8. Стеклянная межа

Двадцать первое ноября.

Сегодня утром мир вокруг кордона переменился за одну-единственную ночь — без снега, без вьюги, в абсолютном космическом безмолвии.

Ещё вчера на закате с северо-востока, со стороны Белого моря и Мезенских тундр, вдруг потянуло ровным сухим холодом. Ветер, трепавший верхушки сосен три недели кряду, стих около полуночи так внезапно, словно кто-то закрыл тяжёлую заслонку на краю земли. Когда я проснулся в шесть утра ещё в полной темноте, первым, что поразило меня на полатях, было исчезновение привычного шума прибоя под берегом.

Тишина стояла такая звонкая и натянутая, что было слышно, как за двойным стеклом в морозном воздухе с сухим шелестом упала с ветки единственная мёрзлая сосновая шишка.

Спиртовой термометр Кузьмича за наличником окна показывал минус четырнадцать. А когда в десятом часу утра из-за зубчатого ельника на востоке впервые за двадцать два дня выкатилось низкое, ослепительно чистое, белое как раскалённое серебро солнце, я вышел к берегу у бани и остановился как вкопанный.

Веж-озеро исчезло — и одновременно осталось на месте, превратившись до самого дальнего семивёрстного горизонта в сплошное зеркало чёрного полированного хрусталя.

За одну безветренную морозную ночь спокойная вода без единой волны и без единой снежинки сверху замёрзла идеально гладким пресноводным монолитом — тем редчайшим северным перволёдком, какой выпадает раз в пять или семь зим до первого большого снегопада.

Я спустился на валунный берег с тяжёлой железной пешнёй на длинном ясеневом древке, ударил со всего плеча остриём у закраины — сталь высекла пригоршню белых звонких брызг и вошла всего на палец: толщина чистого кристаллического льда у берега была уже верных девять сантиметров, а такой прозрачный бесснежный лёд легко держит взрослого человека с грузом и при пяти.

И всё-таки сделать первые десять шагов от берегового камня на открытую глубину оказалось почти физически невозможно без перехвата дыхания под сердцем.

Лёд под подошвами сапог был настолько прозрачен и невидим, что человеческий глаз наотрез отказывался признавать его за твёрдую опору! Казалось, я шагаю прямо по пустому морозному воздуху над чёрной шестиметровой бездной. В полуметре под моими ступнями в неподвижной янтарно-прозрачной воде лежали светлые гранитные валуны, покрытые бурым бархатом водорослей, тянулись по песчаному дну узловатые корневища кувшинок, медленно шевелились зелёные нити рдеста в подводном ключевом течении, а когда я дошёл до свальной ямы у камышового островка, прямо под каблуком моего правого сапога неторопливо, изгибая мраморное пятнистое тело, прошёл у самого дна крупный налим — увидел сверху мою тёмную тень, шевельнул грудными плавниками и ушёл под затопленную корягу.

Время от времени через всё семикилометровое ледяное поле озера от одного скалистого мыса до другого пробегал удивительный живой звук, какого я не слышал никогда прежде: высокий, певучий, почти космический электронный перелив — «уи-и-иу-у-ннн!», похожий на удар по гигантской натянутой басовой струне над резонатором воды. Растущий на морозе лёд натягивался в берегах, давал тонкую волосяную сухую трещину-стрелу, вспыхивающую под солнцем серебряной молнией на сотню саженей вперёд, и вода под ним отвечала долгим низким колокольным гулом.

Умом я твёрдо знал и проверил пешнёй трижды: подо мной почти два вершка монолитного пресного кристалла, способного выдержать гружёные розвальни с лошадью; этот певучий звон и сухие трещины означают не разрушение, а наоборот — набирающую мощь крепость

мороза. Но древний инстинкт при каждом таком раскате под самыми ногами вздрагивал и шептал: беги к берегу, под тобой бездна!

Я нарочно не побежал. Дошёл до середины плёса между кордоном и Малым еловым островом, положил пешню рядом и лёг грудью и лицом прямо на сухой, обжигающий холодом чёрный лёд, прикрыв ладонями виски от бокового солнечного блеска, чтобы заглянуть вглубь подводного мира до самого дна.

И пока я лежал там в центре замершего озера над шестиметровой чёрной водой, мне пришла простая и ясная мысль о природе человеческого доверия.

Ведь почти всё самое настоящее в нашей жизни — любовь, призвание, честное слово, да и сама жизнь среди неведомого нам огромного мироздания — устроено в точности как этот ноябрьский прозрачный перволёдок. Нам всегда хочется непрозрачных бетонных гарантий в три метра толщиной, со стальными перилами и подписями свидетелей, чтобы не видеть бездны под ногами и никогда не испытывать головокружения. Мы строим вокруг себя толстые стены привычек, расчётов, осторожных полумер, боимся открыться близкому человеку до конца, боимся сменить нелюбимое дело, боимся шагнуть на чистый пролёт — и так и простаиваем весь свой век на мелкой прибрежной гальке по щиколотку в безопасности.

А настоящий лёд держит не потому, что он слепой и каменный, а потому, что его молекулы честно и чисто сомкнулись в прозрачный строй. Бездна внизу никуда не делась — она видна до последнего камешка на дне, и лёд под твоим весом поёт и разговаривает живыми трещинами роста, но если ты проверил его край трезвой пешнёй и всё же решился перенести на него весь свой вес без малодушного метания — ты вдруг обретаешь свободу идти напрямик туда, куда вчера не было никакой дороги по чёрной штормовой воде.

К вечеру я принёс в избу два полных берестяных туеска чистейшего колотого озёрного льда для чая и поймал на зимнюю блесну-дорожку из старой мельхиоровой ложки сквозь свежепробитую лунку двух пудовых щук и пятёрку окуней на свежую уху.

Возвращался к крыльцу в ранних лилово-розовых морозных сумерках по звонкому льду напрямик от острова — и впервые за месяц насвистывал вслух какую-то забытую со студенческих лет мелодию.

Глава 9. Чужие тетради

Двадцать восьмое ноября.

Ночью пришёл настоящий большой снег — и окончательно перевернул страницу года.

Валом повалил густой, крупный, сухой пух без ветра, засыпая чёрное зеркало озера, поленницы, баню и мохнатые лапы елей такой щедрой белизной, что утром в избе стало светло даже без лампы: от снежного покрова за окнами на бревенчатый потолок и белёную печь легли чистые голубовато-молочные отсветы. Снег укрыл землю плотным полуметровым одеялом за одни сутки; ноябрьская слепота и грязная хмарь ушли без следа, точно смытые чистой водой.

В такой тихий снежный день не хотелось шуметь топором во дворе. После утренней расчистки дорожки к проруби широкой осиновой лопатой я затопил печь, сдвинул сосновый сундук Кузьмича из тёмного угла под божницей поближе к окну и впервые с сентября позволил себе разобрать его архив до самого дна. До сих пор мне казалось неловким трогать бумаги старика без крайней хозяйственной нужды — будто подглядываешь через плечо в чужую жизнь; но теперь, прожив в его стенах два с половиной месяца, переложив его печь и выходив по его затёскам окрестные тропы, я почувствовал, что имею право познакомиться с хозяином дома поближе.

Под верхней крышкой сундука на сухом листе папоротника-орляка от моли лежали аккуратно перевязанные суровой льняной бечёвкой годовые связки казённых шнуровых журналов Гидрометеослужбы и простых клеёнчатых тетрадей: «Водомерный пост II разряда Веж-озеро. Наблюдатель Ф. К. Сомов. 1975 год», «1976 год»... и так год за годом, без единого пропуска, вплоть до августа две тысячи двадцать четвёртого — ровно сорок девять лет непрерывной ежедневной летописи одного лесного мыса!

Я развязал наугад связку за тысяча девятьсот восемьдесят четвёртый год — мне тогда было всего минус один год до школы, не то что до зрелости, — и положил раскрытую тетрадь на колени.

Каждая страница была разлинована от руки по линейке химическим карандашом на ровные графы: дата, утренняя и вечерняя температура воздуха, уровень воды по свайной рейке у бани в сантиметрах над нулём поста, направление ветра, облачность, толщина льда и высота снегового покрова. Никаких литературных красивостей, никакого самолюбования — сухая, честная дисциплина наблюдателя. Но в крайней правой графе «Особые атмосферные и фенологические явления» мелким, твёрдым, чуть наклонным почерком сельского учителя жила целая огромная вселенная:

«19 ноября 1984 г. Озеро встало в одну ночь при штиле и -16°C. Лёд чёрный, зеркальный, 8 см. У мыса вмёрзли в верхнюю кромку три листа жёлтой кубышки».

«4 апреля 1985 г. Первая пуночка-снегурка на проталине у бани. Прилетела раньше обычного на шесть суток — быть ранней дружной воде».

«17 мая 1991 г. На Малом острове села на гнездо пара кликунов-лебедей, та же, что в позапрошлом лете (у самца старая дробина в правом маховом пере, при взлёте чуть кренит крыло). Остров обходить веслом за двести саженей, сеть у луды не ставить до августа».

«12 января 2003 г. Мороз к утру -43°C. В бору за ручьём рвёт морозобоиной старую сосну, стреляет как из ружья. Приходила к крыльцу лиса-огнёвка подбирать рыбью чешую, совсем ручная от стужи».

Я перелистывал десятилетие за десятилетием — грозовые восьмидесятые, голодные и шумные девяностые, когда на Большой земле рушились империи, менялись деньги, названия улиц и флаги, гремели биржи и делились заводы, сытые двухтысячные, тревожные двадцатые, — а здесь, на страницах старого лесничего, в девяносто восьмом году, когда сам гидропост

официально сократили и перестали платить старику мизерное казённое жалованье, ни единая графа в тетрадях не прервалась!

Подумать только: двадцать шесть последних лет своей жизни Фёдор Кузьмич уже никуда не отсылал сводок, никто из начальства не проверял его журналов и не платил ни копейки, но каждое утро ровно в восемь ноль-ноль и каждый вечер в двадцать ноль-ноль старый человек надевал полушубок, брал пешню и деревянную линейку, спускался к озеру и записывал в самодельную графу уровень воды, прилёт первых лебедей и цветение морошки на Моховом болоте!

Зачем? Для кого?

Сидя над этой стопкой из сорока девяти перевязанных верёвочкой лет, я вдруг понял вещь, от которой внутри всё стихло и встало на свои места.

Мы в городе привыкли мерить ценность любого человеческого труда исключительно его внешним тиражом, выручкой и количеством зрителей: если твою работу никто не купит и не покажет на выставке — значит, незачем и стараться. А Кузьмич знал иной, куда более древний и высокий смысл человеческого присутствия на земле: человек поставлен в мире не хозяином-покорителем и не капризным потребителем, а внимательным свидетелем. Пока хоть один человеческий глаз с любовью и точностью замечает, какого числа зацвёл багульник и вернулся ли раненый лебедь на старое гнездо, пока рука не ленится беречь остров от лишнего удара весла — этот угол земли согрет смыслом и памятью. И сам старик держался на плаву после гибели семьи не гордыней отшельника, а этой скромной ежедневной верностью живому миру вокруг своего порога.

На самом дне сундука, рядом с жестяной коробкой старых рыболовных блёсен и сушёными пучками зверобоя, я нашёл маленький мешочек из двойного небелёного холста, перетянутый у горловины красной шерстяной ниткой. Внутри гремели сухие, твёрдые как речные камешки серые пластинки, снятые когда-то ножом со стенок деревянной квашни, и лежал сложенный вчетверо тетрадный листок с крупной карандашной надписью Кузьмича:

«Закваска ржаная старинная, ещё матушкина из Выи. Не портится по пять зим в сухости. Размочить горсть корочек в тёплой озёрной воде в глиняной кринке, присыпать горстью сеяной ржаной муки, поставить на три дня на тёплую печь под овчину — проснётся на четвёртые сутки живым кислым духом. При выпечке всегда оставлять ложку теста на стенках квашни досуха — на развод следующему».

Два мешка грубой обдирной ржаной муки в зашитых крафт-кулях стояли у меня в жестяном ларе в чулане ещё с сентябрьского завоза на мотрисе — я брал их с мыслью печь пресные лепёшки на чугунной сковороде, потому что прессованные магазинные дрожжи за три месяца без холода не живут, а сухих я взял всего несколько пакетиков. И вот из глубины полувека прямо мне в ладони протянулся сухой, спящий живой хлеб, сохранённый матерью Фёдора Кузьмича ещё в довоенные годы и бережно переданный «следующему», даже не зная наверняка, кто именно откроет этот сундук.

Вечером я ошпарил кипятком небольшую липовую дежу из судного шкафа, налил на дно кружку тёплой, как парное молоко, талой снеговой воды, осторожно опустил туда горсть твёрдых серых ржаных пластинок, припудрил двумя горстями серой ржаной муки, накрыл льняной холстиной и поставил на тёплые кирпичи печной приступки под старую овчинную рукавицу.

За окном тихо, беззвучно валит белый пух поверх замёрзшего Веж-озера.

Осень кончилась. Чёрная вода ушла под лёд и снег, моя первая тетрадь исписана ровно наполовину, а на печи в тёплой темноте под холстиной тихо отмокает и готовится проснуться через три дня столетняя живая закваска.

Пятое октября.

Сегодня, в прохладный, спокойный, едва заметно сырой день, я вышел на берег и долго стоял, глядя на воду, на чёрную, стальную, чуть вздрагивающую поверхность, и в этой стоя-

чей, спокойной, почти мертвенной воде — вот где, кажется, и есть одна из главных радостей осенней поры.

Осень не кипит, как лето, не сверлит, как весна, не застывает, как зима — осень просто **стоит**, стоит и смотрит, и в этом стоячем, спокойном, созерцательном стоянии — вот что, кажется, и есть главное в осеннем лесу: здесь не нужно никуда бежать, здесь не нужно ничего ловить, здесь не нужно спешить — здесь просто можно быть, стоять, смотреть, и в этом стоянии — вот где, кажется, и есть одна из главных радостей осенней жизни.

Лес, осенью, как человек в годах, который уже всё понял, уже всё пережил, и теперь просто стоит, смотрит, и в этом смотрении — вот где вся его мудрость, вот где вся его глубина, вот где вся его красота.

И в этом — вот в этом — и есть то, что я теперь ценю в лесу больше всего: не его буйство, не его сила, а именно это стоячее, спокойное, созерцательное стояние, в котором есть всё.

Десятое октября.

Сегодня, в ясный, прохладный, чисто осенний день, я ходил по лесу и вглядывался в кроны, в травы, в камни, и в этой ясности, в этой прозрачности, в этой чуть холодной, чуть прозрачной, чуть звенящей осенней поре — вот где, кажется, и есть одна из главных радостей осеннего леса: здесь всё ясно, всё прозрачно, всё понятно, здесь нет того, что есть в другие времена года — тумана, хмари, неясности.

Здесь всё на виду: и прошлое, и будущее, и настоящее, и вся жизнь, и вся мудрость, и вся радость.

И в этой ясности, в этой прозрачности, в этом полном, незатуманенном видении — вот что, кажется, и есть главное в осеннем лесу: здесь можно ясно, чётко, спокойно увидеть всё, что есть, и в этом видении — вот где, кажется, и есть вся ценность осенней жизни.

Семнадцатое октября.

Сегодня, в прохладный, сырой, дождливый день, я сидел в избе, слушал, как дождь тикает по крыше, и в этой тишине, в этой покоящейся, спокойной, умиротворённой поре — вот где, кажется, и есть одна из главных радостей осенней избы: здесь, под крышей, в тепле, в тишине, в уютном покое, можно просто сидеть, слушать, и думать о том, что жизнь — не в действии, не в событии, не в активности, а в этом тихом, спокойном, умиротворённом покое.

И в этом покое — вот в этом — и есть то, что я теперь считаю одной из величайших ценностей лесной жизни: здесь, в этой тишине, в этом тепле, в этом покое, можно просто быть, и в этом простом, тихом, умиротворённом бытии — вот где, кажется, и есть вся глубина, вся мудрость, вся радость этой жизни.

В этом — вот в этом — и есть то, что в городе не найдёт никогда.

Двадцать первое октября.

Сегодня, в прохладный, спокойный, едва заметно сырой день, я вышел на берег и долго стоял, глядя на воду, на чёрную, стальную, чуть вздрагивающую поверхность, и в этой стоячей, спокойной, почти мертвенной воде — вот где, кажется, и есть одна из главных радостей осенней поры: здесь не нужно никуда бежать, здесь не нужно ничего ловить, здесь не нужно спешить — здесь просто можно быть, стоять, смотреть, и в этом стоянии — вот где, кажется, и есть одна из главных радостей осенней жизни.

Осень не кипит, как лето, не сверлит, как весна — осень просто **стоит**, стоит и смотрит, и в этом стоячем, спокойном, созерцательном стоянии — вот что, кажется, и есть главное в осеннем лесу: здесь не нужно никуда бежать, здесь не нужно ничего ловить, здесь не нужно спешить — здесь просто можно быть, стоять, смотреть, и в этом стоянии — вот где, кажется, и есть одна из главных радостей осенней жизни.

И в этом — вот в этом — и есть то, что я теперь ценю в лесу больше всего: не его буйство, не его сила, а именно это стоячее, спокойное, созерцательное стояние, в котором есть всё.

Двадцать пятое октября.

Сегодня, в ясный, прохладный, чисто осенний день, я ходил по лесу и вглядывался в кроны, в травы, в камни, и в этой ясности, в этой прозрачности, в этой чуть холодной, чуть прозрачной, чуть звенящей осенней поре — вот где, кажется, и есть одна из главных радостей осеннего леса: здесь всё ясно, всё прозрачно, всё понятно.

Здесь всё на виду: и прошлое, и будущее, и настоящее, и вся жизнь, и вся мудрость, и вся радость.

И в этой ясности, в этой прозрачности, в этом полном, незатуманенном видении — вот что, кажется, и есть главное в осеннем лесу: здесь можно ясно, чётко, спокойно увидеть всё, что есть, и в этом видении — вот где, кажется, и есть вся ценность осенней жизни.

Часть II. Зима. Белое безмолвие

Глава 10. Закваска проснулась

Третье декабря.

Сегодня в избе пахнет так, как не пахло ни в одном доме моей взрослой жизни, — горячим ржаным подовым хлебом.

Четверо суток я ходил вокруг маленькой липовой дежи на печной приступке, как ходят вокруг колыбели тяжелобольного ребёнка. В первый день сухие серые пластинки матушкиной закваски Фёдора Кузьмича просто лежали на дне тёплой болтушки мёртвыми черепками. Во второй — размокли и разошлись под деревянной веселкою, но смесь оставалась глухой, пресной и неподвижной: всё-таки два с лишним года в холодном промёрзшем сундуке, две сорокаградусные зимы без человеческого дыхания в избе! Мне уже начинало казаться, что чудо не состоится и древняя грибковая культура погибла окончательно.

На исходе третьих суток, вчера поздно вечером, я приподнял край льняной холстины с лампой в руке — и замер.

Поверх густой тёмно-серой ржаной опары медленно надулся и беззвучно лопнул первый крупный матовый пузырь, выпустив вверх тонкую, ни с чем не сравнимую тёплую струю живого яблочно-винного кислого духа! Следом поднялся второй, третий — вся масса в старом липовом дереве тихо, ровно дышала и шевелилась, вспомнив своё вековое ремесло после двухлетнего летаргического сна.

С ночи я поставил полную опару на талой снеговой воде, а сегодня чуть свет замесил крутое ржаное тесто из обдирной муки со щепотью крупной поморской соли и ложкой тминного семени, найденного в аптекарской склянке на судной полке. Вымешивать чистую рожь без пшеничной клейковины — работа тяжёлая, вязкая: тесто липнет к кулакам, неохотно отлипает от стенок дежи и требует не торопливого битья, а долгого терпеливого переваливания снизу вверх тёплыми ладонями, смоченными в воде, пока под пальцами оно не начнёт тихо попискивать воздухом.

Прежде чем посадить две круглые ковриги в печь, я не забыл исполнить завет старой записки Кузьмича: отделил деревянной ложкой добрый ком живого кислого теста и размазал его тонким слоем по верхнему сухому венцу внутри дежи — пусть высохнет твёрдой корочкой в запас, чтобы нить больше не обрывалась.

Печь протопил сегодня сухой звонкой берёзой с двумя ольховыми поленьями под конец, пока кирпичный свод топливника не побелел от жара, выжегши всю чёрную копоть до чистого светлого камня. Выгреб железной клюкой малиновые угли в загнетку, вымел кирпичный под мокрым сосновым помелом — от горячего камня полыхнуло в лицо крутым хвойным паром! — бросил на под щепоть сухой муки на пробу: мука не вспыхнула чёрным огнём, а ровно покоричневела с ореховым запахом, значит, первый злой жар спал и печь вошла в хлебную пору.

Форм для выпечки у меня не было, да подовому хлебу они и не нужны. Я перевернул подошедшие круглые шапки теста на деревянную лопату, присыпанную ржаными отрубями, сделал сверху ножом три косых надреза, чтобы корку не порвало в жару, и одним коротким толчком ссадил обе ковриги прямо на выметенный горячий кирпич. Закрыл заслонку.

Пока хлеб стоял в глухом печном духу свой положенный час, я сидел на лавке, смотрел на подрагивающий язычок лампы — в одиннадцать утра за окном уже стоял сизый декабрьский полумрак — и вдруг с пугающей отчётливостью увидел руки своей бабушки по матери, Прасковьи Тимофеевны, умершей, когда мне шло девятое лето.

Я не вспоминал о ней годами, даже лица её на старых любительских карточках помнил смутно, а сейчас запах пекущейся ржаной корки мгновенно отпер в памяти наглухо заколоченную дверь: лето в маленьком деревянном доме под Вологдой, выскобленный до жёлтой кости стол, и бабушка достаёт из печи точно такую же тёмно-бурую ковригу, умывает её верхнюю корку мокрой ладонью, чтобы стала глянцевой и мягкой, заворачивает в чистую полотняную скатерть и строго говорит мне, тянущемуся к горбушке: «Погоди, Илюшенька, горячий хлеб резать грех — дай ему отдохнуть да дойти умом под полотенцем, он живой».

Мы привыкли думать, будто память хранится у нас в голове в виде дат, имён и умных выводов. Какая наивность! Голова забывает и предаёт первой, а настоящая память живёт в запахе мокрого соснового помела на горячем поду, в тяжести ржаной ковриги на ладони, в старом жесте умывания корки водой. Пока ты повторяешь этот жест своими руками, мёртвые вовсе не мертвы — они стоят за твоим правым плечом и спокойно смотрят, верно ли ты вымел угли из углов печи.

Вынул обе ковриги — высокие, куполообразные, тёмно-каштановые, с седой мучной трещинкой по боку. Постучал согнутым пальцем в нижнюю корку: оттуда отозвался чистый, сухой барабанный гул — пропёкся до самой середины! Выждал честно два часа, пока хлеб «дойдёт умом» под двойным рушником, и только к вечеру отрезал первый тяжёлый, ноздреватый, упругий ломоть, который при нажатии пальцем медленно распрямляется обратно без единой сырой крошки.

Ел его без рыбы и без каши — просто с крупинками серой соли и кружкой горячего кипятка. И клянусь: ни в одной парижской или петербургской пекарне, куда мы когда-то заходили с друзьями после сдачи проектов, я не пробовал ничего весомее и честнее этого куска тёмного северного хлеба, испечённого на столетней закваске среди декабрьских снегов.

Глава 11. Четыре часа сумерек

Одиннадцатое декабря.

Свет убывает с каждым днём так стремительно, точно вода уходит в воронку.

Теперь солнце уже не поднимается из-за высокого ельника на южном берегу озера вовсе — только около полудня на полтора-два часа верхушки дальних сосен окрашиваются холодным медно-розовым румянцем, по снежной равнине Веж-озера ложатся длинные, в полверсты, фиолетово-синие тени от островов, и тут же, не успев согреть воздух ни на полградуса, этот косой луч гаснет в морозной лиловой дымке. Весь световой день сжался до четырёх часов прозрачных голубых сумерек между десятью утра и двумя пополудни, а остальные двадцать часов суток вокруг избы стоит высокая звёздная или снежная ночь.

С первого декабря я завёл для себя новое правило: открыл чистую клеёнчатую тетрадь в синей обложке, разграфил её в точности по образцу Фёдора Кузьмича и возобновил ежедневные наблюдения на водомерном посту Веж-озера — в восемь утра с фонарём и в восемь вечера с фонарём.

Зачем мне это нужно, если сводки некому отправлять?

Во-первых, нельзя, чтобы сорок девять лет непрерывной записи оборвались на пятидесятом году только потому, что в избе сменился жилец: в полувековых рядах цифр есть своя строгая архитектура, и бросить её недостроенной для реставратора всё равно что разобрать замковый камень в старой арке. А во-вторых, эти два обязательных выхода к ледяной проруби в глухую утреннюю и вечернюю темень при любом морозе и ветре держат день в железных берегах лучше любых часов.

Ровно в восемь утра снимаешь со стены пешню и деревянный черпак с насверленными дырками для шуги, зажигаешь ветроустойчивый керосиновый фонарь «летучая мышь» и спускаешься по скрипучим, вымерзшим до каменного звона ступенькам к озеру. Ночью прорубь успевает затянуться на два пальца молодым синеватым ледком, несмотря на то что сверху я закрываю её деревянным щитом и нагребаю холм сухого снега для тепла. Три-четыре удара пешнёй по краям — корка распадается звонкими осколками, черпаком выкидываешь ледяное крошево в сторону, опускаешь в чёрную дымящуюся воду размеченную делениями медную линейку до верхнего среза старой лиственничной сваи поста, вбитой Кузьмичом на глубине ниже промерзания, и смотришь при жёлтом свете фонаря на уровень зимней межени.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.